

Марианна Николаевна СКАНАВИ-СТРОЕВА
МОЙ ОТЕЦ

Мой отец — Николай Александрович Сканави был старшим и самым любимым сыном в большой греческой семье Александрины Ивановны Сканави (в девичестве — Скараманга), которую она вырастила в Ростове-на-Дону¹. Всем детям мать и отец дали хорошее домашнее воспитание, а мальчиков после гимназии отсылали в Университеты. Николай Александрович учился после ростовской гимназии в Петербургском Политехническом институте, который закончил с золотой медалью, и был приглашен преподавать курс лекций студентам. Но этому помешал неожиданно открывшийся у него туберкулез горла, и его отправили лечиться к известному врачу в Германию. (В Швейцарии, в Цюрихе он встретил своего брата Ваню с его женой Маней, которая вскоре родила ему первого сына Юрия, будущего известного физика²).

В эти годы лечения Николай Александрович переписывался со своей будущей женой — Еленой Евгеньевной Порай-Кошиц³, которая девочкой в Саратове, лишившись матери, теперь жила под присмотром своего брата, будущего академика Александра Евгеньевича Порай-Кошица⁴, который был на 14 лет старше ее. Она училась на медицинском факультете в Дерпте (Юрьеве, теперь Тарту). Письма их сохранились, заботливо перевязанные ленточкой. Читая их теперь, целый век спустя, чувствуешь, что молодые люди, влюбленные уже тогда, не могли расстаться.

Как только лечение закончилось (оно продолжалось около двух лет), Коля вернулся в Ростов-на-Дону к матери и ее брату — дяде Жоржу Скараманга⁵, который заменил детям рано умершего отца. Дядя Жорж посылал Колю лечиться, и теперь принимал самое деятельное участие в его будущей судьбе. После перенесенной болезни ему не было рекомендовано возвращаться в холодный Петербург. Но свадьбу не стали откладывать, только подождали приезда отца Лели — генерала Евгения Александровича Порай-Кошица⁶ — и в 1913 году ее сыграли в городе Славянске. В Ростове семья Сканави дружила с семьей Шапошниковых, где Лелю, быстроногую и голубоглазую, ласково называли

¹ Александр Александрович Сканави (1845–1898) в 1880 г. женился на Александрине Ивановне Скараманга (1855–1932). У них было 11 детей, трое умерло в младенчестве, восемь выжило: Николай (1882–1964), Вера (1883–1959), Елизавета (1884–1923), Иван (1887–1956), Константин (1888–194?), Ольга (1891–1993), Михаил (1895–1970), Тереза (1898–1991). Александрина Ивановна была образованной женщиной (она свободно владела французским, греческим, русским, немецким и английским) и много времени уделяла воспитанию детей, сама преподавала им литературу, математику, физику, приглашала учителей музыки, французского, английского и немецкого. В доме регулярно устраивались семейные концерты и игрались спектакли на французском языке.

² Иван Александрович Сканави (1887–1954), профессор Политехнического института в Петербурге и Москве, хороший скрипач. Участвовал в проведении плана ГОЭЛРО. В юности Иван Александрович учился на инженера механика в Политехническом институте в Петербурге, принимал участие в студенческих волнениях 1905 г. и, во избежание ареста, семья отправила его получать образование в Цюрих, где в 1910 г. он окончил Политехнический институт. В Швейцарии он встретил Марию Семеновну Григорьеву (ум. 1957). Она была несколько старше него. В 1910 г. у них родился сын Юра, в 1912 г. — Марк.

³ Елена Евгеньевна Сканави, урожд. Порай-Кошиц (1889–1984), детский психиатр, кандидат медицинских наук.

⁴ Александр Евгеньевич Порай-Кошиц (1877–1949), химик-органик, академик АН СССР (1935; член-корреспондент 1931), лауреат Государственной премии (1943), зав. кафедрой органической химии Петербургского (Ленинградского) Технологического института им. Ленсовета.

⁵ Жорж (Георгий Иванович) Скараманга (1860–1930). Он окончил университет в Экс-ан-Провансе (Франция). Состоятельный человек, он заботился о сестре и ее детях, в ростовском доме Скараманга и жила семья Сканави. В 1922 г., во время НЭПа, был привлечен советским правительством для организации экспорта зерновых.

⁶ Евгений Александрович Порай-Кошиц (? – 1920?), генерал. Погиб во время гражданской войны, по ошибке застрелен караульным солдатом.

«тушканчиком».

Тем временем дядя Жорж подыскал для Коли подходящую работу — в качестве главного инженера Цементного завода близ станции Амвросиевка — недалеко от Таганрога. Там молодожены и обосновались. Коля сразу завоевал расположение рабочих завода и довольно скоро стал директором огромного завода. А Леля начала осваивать свою будущую профессию врача. Она бесплатно дежурила в местной больнице под руководством доктора Форсблома.

Два года спустя, в 1915 году у молодых появился сын — Шурик⁷, а еще два года позже, в 1917 году родилась я. Революционные события в России нарастали. Меня назвали Марианной в честь Великой Французской революции. Пример Франции был близок отцу, как и всей семье Сканави, где говорили и переписывались с матерью по-французски. Эта семейная традиция позже обнаружила наивность представления моего отца о революции.

Вскоре Гражданская война охватила всю страну. Мирная жизнь кончилась. Бои с красными казаками шли и на подступах к Амвросиевке. Мы — дети играли пулями. Я взяла одну в рот, пососала как леденец, и проглотила, чем напугала мать. Она повезла меня в больницу, но на станции я благополучно от пули освободилась.

Когда мама лежала в тифу, выстрелы и взрывы слышались поблизости. Мама просила: «Коля, скажи, чтобы дети не хлопали дверями». Но дети были не при чем.

В это время деятельный дядя Жорж, работавший в ростовском Госбанке, нашел для Коли место в московском Госбанке на Неглинной, куда отец незамедлительно и отправился. В 1922 году мы должны были последовать за ним вместе с няней Шурой в вагоне-теплушке, стоявшем на запасных путях, куда погрузили все вещи и даже рундук муки.

Провожать нас пришли все знакомые, в том числе и вся семья доктора Форсблома (финна по национальности, давно обрусевшего) - он, его жена и двое детей, с которыми мы дружили, — старшая Снегурка и младший — Егорушка. Егорка пришел мрачный и забился под наш вагон. Его искали, но нашли только, когда услышали всхлипывания из-под вагона. Он переживал мой отъезд. Ведь недавно старшие дети «обвенчали» нас, младших. Надели на меня вместо фаты полотенце с кружевами и соорудили кольца из медной проволоки. Мы отнеслись к этой игре серьезно, особенно 6-летний Егорка, я — 4-х летняя, ему сочувствовала. А теперь я уезжаю, он остается. Увидимся ли мы снова когда-нибудь?.. Увиделись мы в Егоркой только один раз, почти через 15 лет, когда перед войной приехали с Шуриком в Таганрог их повидать (они туда все переехали). Я была уже замужем, а Егорка женат. Наши детские игры так и не сбылись. Только снялись вчетвером на память. Фотографию я храню.

Ехали мы медленно, часами, а то и днями, стояли в пути, и до Москвы добирались почти целый месяц. Папа встретил нас с подводой и отвез в дом 12 на Никитском бульваре, где Госбанк отвел ему две комнаты в общей квартире на 6-ом этаже. Туда к нам присоединилась и папина сестра — тетя Лиза, моя крестная мать, которую папа очень любил и втайне от их матери занимался с нею точными науками, готовя в Университет⁸. Теперь она уже работала в школе №7 (где потом учился

⁷ Александр Николаевич Сканави (1915–2001), инженер–строитель, профессор МИСИ.

⁸ Елизавета Александровна в молодости увлекалась толстовством и мечтала посвятить свою жизнь делу народного просвещения. В 1907 г. она втайне подготовилась к экзаменам и получила аттестат зрелости. Мама, а особенно тетя Амалия не одобряли ее учебу, считая, что это негоже для девушки из хорошей семьи. Несмотря на это, Лиза добилась маминого разрешения учиться в Петербургском университете, куда поступила в 1909 г., а затем в Москве, где она окончила физико–математический факультет в 1915 г. В 1916 г. она вернулась в родной город, где преподавала в Варшавском университете (эвакуированном во время войны в Ростов), в гимназии, а по вечерам в школе для рабочих; затем учительствовала в небольших городках на юге России, а потом переехала в Москву.

Шурик), преподавала математику и физику, а жила с нами. Я ее очень любила, она - меня, писала мне стихи, напевала песенки перед сном.

К глубокому горю всех нас, жизнь тети Лизы вскоре, в 1923 году, оборвалась. Она заболела воспалением легких, и его не перенесла. Это в моей жизни была первая смерть близкого человека. Она лежала на столе со знакомой улыбкой на губах, когда нас с Шуриком привели домой (от тети Дони, маминой сводной сестры), чтобы попрощаться с нею. Мне было 5 лет. Я влезла на табурет и взяла ее за руку, спрашивая, почему у нее такие холодные пальцы? Для любимой сестры папа выхлопотал место на Новодевичьем кладбище. Там ее и похоронили. Я долго не могла забыть свою тетю Лизу, подходила к вешалке, где висели ее платья, юбка, белая кофточка, и вдыхала ее знакомый запах. Мне все казалось, что она просто пошла на работу в школу. Но там висел долго только ее портрет, потом и он исчез.

В квартиру на Никитском бульваре к нам приезжала из Баку старшая из папиных сестер тетя Вера. В Баку на нефтяных промыслах работал ее муж Панайотис Кандилис. С нею были ее дети: красивая дочь Дрина, которая нам казалась уже взрослой, и сын Жоржик 9 лет (будущий великий архитектор⁹), которого потом в Афинах воспитывала бабушка Александрина, и он ее называл — «мой профессор» (она уехала в Афины в 1921 году с четырьмя младшими детьми, четверо старших приняли советское гражданство¹⁰).

Мы, дети, играли тогда с Жоржиком в «паровозики», разъезжая по комнате на стульях, других игрушек у нас не было. На Рождество, правда, папа приносил елочку, мы украшали ее самодельными бумажными игрушками. Меня наряжали в белое платье, завязывали большой бант и ставили под елку (я должна была петь «В лесу родилась елочка...»). На праздник к нам приезжал из Ростова дядя Жорж, с руками, полными подарков, сладостей и фруктов. Он показывал нам фокус: выкладывал сухие фрукты на противень, взбрызгивал их спиртом и поджигал. Казалось, они горели высоким голубым пламенем. Мы хлопали в ладоши, а дядя Жорж, как из рога изобилия, доставал из портфеля новые сюрпризы. Папа был в восторге — он очень любил своего дядю.

Когда Шурик заболел скарлатиной, мама, по предложению тети Мани, привела меня в квартиру на Сретенском бульваре, где тогда жила вся семья дяди Вани, чтобы я пожила у них. Их дети - Юра и Маля (Марк, будущий знаменитый математик¹¹) вышли

⁹ Вера Александровна Сканави (1883–1959) в 1907 г. вышла замуж за богатого бакинского предпринимателя Панайотиса Кандилиса (1870–1966). У них родилось четверо детей: Александрина (Дрина; 1908–1959), Илиас (Илья; 1910–1912), Георгий (Жорж) и Александр (1915?–1922). После революции, Вера Александровна была преподавателем в бакинской Консерватории по классу пианино. В 1922 г. Панайотис Кандилис был арестован, дом реквизирован; после освобождения, его отправили торговать лесом в Персию. В 1924 г., взяв Дрину и Жоржа, Вера Александровна уехала в Афины; в 1926 г. к ней смог присоединиться ее муж.

Жорж Кандилис (1913–1996) провел детство в России, юность – в Греции (окончил Политехнический институт в Афинах), зрелые годы – во Франции (с 1945 г.), где он стал учеником и последователем Ле Корбюзье. На русском языке опубликована его книга «Стать архитектором». При подготовке публикации использованы собранные им семейные архивы и фотографии, вошедшие в книгу: *George Candilis. Histoire de trois familles de la grande diaspora. Scaramanga – Scanavi – Candilis. - Athènes : ERMIS, 1994.*

¹⁰ Остались в России: Николай, Елизавета, Иван, Константин (адвокат, играл на виолончели, погиб в Ростове в Отечественную войну). В 1921 г. мамой уехала Ольга, а Тереза, которая преподавала на рабфаке, присоединилась к ним в 1922 г. Сестры жили в Афинах, работали в Коммерческом банке. Михаил учился на инженера в Петербурге, в 1915 г. пошел на фронт, а после 1917 г. сумел перебраться в Афины, где окончил Потитехнический институт. Работал на строительном предприятии; играл на пианино. В 1950 г. переехал в Южную Африку.

¹¹ Георгий Иванович Сканави (1910–1959), профессор МГУ, физик, и Марк Иванович Сканави (1912–1972), профессор, математик.

в прихожую, чтобы познакомиться с маленькой сестрой (мне было 6 лет, они оба были намного старше меня, уже кончали школу). «Поздоровайся с твоими братьями», – сказала мне тетя Маня. Я взглянула на них и смущенно потупилась: "Какие же это братья, они же целые господины", - сказала я и покраснела. Мои слова вызвали взрыв смеха.

Потом мы все часто бывали в этой большой квартире, где устраивались детские праздники - на Рождество с Елкой, на Пасху с катанием яиц и на другие дни рождения, когда Юра бурно играл на рояле, а Маля ставил шарады и сочинял остроумные буримэ. Постепенно разница в возрасте стиралась, я полюбила своих «целых господинов». Но в первые годы, когда мы ехали домой на трамвае, папа брал меня на руки, потому что я уже спала,

Зимой няня Шура водила нас с Шуриком гулять по бульварам - к Храму Христа Спасителя, где можно было на саночках съезжать по заснеженным ступеням вниз — почти до Москва-реки. «Шурик, вернись!» — кричала она в испуге.

Летом, на школьные каникулы, няня Шура возила нас в Амвросиевку к своей матери. По дороге на станциях она покупала молоко, вареную картошку, яблоки. Как-то раз молоко за ночь скисло. Няня сердито встряхнула бутылку и с размаху вылила кислое молоко за окно, но с ужасом увидела, что вся простокваша пристала к окнам вагона, шедшего вслед за нами. Сразу оттуда пришли пассажиры и стали грозить, что на станции к нам придет милиционер и оштрафует нас. Няня Шура разволновалась, покраснела, что-то лепетала в свое оправдание. Но когда наш поезд подошел к станции, оказалось, что ветер сдул всю простоквашу, даже следов не осталось. Няня с облегчением вздохнула: «Обошлось!»

Во фруктовом саду няниной матери мы сразу объедались до отвала спелыми сливами и грушами. Троицу здесь справляли очень красиво в небольшой избе, пол ее был весь устлан свежей травой, мятой, а у стен стояли сплошь длинные березовые ветки. Сюда вносили икону «Троицы», входил священник с кадиллом, чтобы освятить горницу. Все истово крестились и напевали молитву. А потом переходили в другую избу, где было приготовлено угощение. Но нас поскорее укладывали спать, т.к. после маминого сада мы уже не могли ничего есть.

В Москве няня Шура познакомилась со своим будущим мужем Мишей — славным и добрым молодым человеком. Папа занимался с ним по вечерам электромеханикой, готовя к экзаменам в техникум. Когда они поженились, у них родилась дочка — Милада. Они жили на втором этаже в старом, покосившемся домике в Южинском переулке. Я забегала туда после школы, и няня Шура угощала меня блинчиками. Потом, во время войны, Мишу взяли на фронт и там он был убит. Няня Шура одна растила Миладу, но потом она заболела опасной болезнью и умерла, а с нею погибла и наша няня. (Теперь мой старший сын Андрей, инженер–строитель, построил на месте ветхих домишек в Южинском переулке комфортабельные особняки, на которые можно только любоваться.)

Еще в дошкольном возрасте и позже папа постепенно вводил в нашу жизнь любовь к Чехову, которого хорошо знал и ценил. Почти каждый вечер он брал с полки том собрания сочинений Чехова в первом издании Маркса, и читал нам перед сном один из его рассказов. Начинал с «детских» — «Гриша», «Злой мальчик», «Ванька», переходил к «смешным» — «Налим», «Дочь Альбиона», доходя до «серьезных» — «Дом с мезонином», «Спать хочется», «Степь», и поднимался до трагической «Палаты №6». Я готова была лишиться дня «поболеть», только бы папа сел у моей кровати с томиком Чехова в руках. Потом, вспоминая папины чеховские уроки, я также читала чеховские рассказы своим детям.

В эти двадцатые годы были опубликованы первые произведения Михаила Булгакова — рассказы «Собачье сердце» и «Роковые яйца», большой роман «Белая гвардия», который готовился к постановке в Художественном театре под названием «Дни Турбиных». Папа был очень увлечен молодым писателем, который недавно приехал в Москву из Киева. Вместе с мамой они посмотрели спектакль «Дни Турбиных» в 1926 году и нам о нем восторженно рассказывали. Но мы смогли его посмотреть много позже, так как его часто «запрещали» показывать, а потом снова «разрешали», и попасть на него было невозможно. Рассказы Булгакова папа достал и дал нам прочитать. На меня они произвели огромное впечатление. Но их глубинный смысл мне объяснил тогда папа. Эти две небольшие книжки долго хранились в его библиотеке. А я писала о спектакле «Дни Турбиных» в своей докторской диссертации о режиссуре К.С.Станиславского, которую защищала в 1970 году. О спектакле «Собачье сердце» я написала еще позже, в 1980 году, когда его впервые поставила режиссер Г.Яновская в Московском ТЮЗе. «Роковые яйца» мне так и не удалось перечитать позже. Но последний булгаковский роман «Мастер и Маргарита» стал на долгие годы моим любимым произведением, как и пьеса «Бег», которая давно поставлена у нас и за рубежом — в театре и в кино.

Естественно, что после Чехова и Булгакова, папа хотел нас научить понимать и чувствовать близкий ему Художественный театр. Сначала нас отправили, как всех детей, на «Синюю птицу», которую я поняла не сразу. А первый «взрослый» спектакль, который я девочкой увидела, сидя на откидных местах в партере МХАТ вместе с братом, было «Воскресенье», поставленное Вл.И.Немировичем-Данченко по роману Льва Толстого с К.Н.Еланской в роли Катюши Масловой. Сначала папа дал мне прочитать роман Толстого, а потом мы пошли на спектакль.

Хорошо помню, что меня, девочку, глубоко потряс не только голос Ведущего - В.И.Качалова (до сих пор помню как звучал его крик девочки – «тетенька Михайловна, платок потеряли! Платок потеряли!»), но особенно волнующий, какой-то беззащитный голос Еланской, и я смотрела на нее, обливаясь слезами, из-за спины Шурика. Когда спектакль кончился, я все еще продолжала рыдать, а брат потащил меня за шиворот вон из театра. Он говорил, что я его «позорю». «Перестань сейчас же!» — зло шипел он, когда и на улице я еще всхлипывала, уткнувшись носом в афишу театра.

Тогда мы уже переехали с Никитского бульвара в дом №6 на Тверском бульваре, где нам дали небольшую квартиру с длинным общим коридором, где можно было кататься на велосипеде. Отсюда Шурик ходил в свою школу в Леонтьевском переулке, а я ходила в Мерзляковский переулок — в школу №10 имени Фридриха Нансена, куда перешла вся наша группа из детсада в Каложном переулке на Арбате. Вместе со всеми перешел и красивый мальчик Люсик Стерлинг, в которого я по-детски была влюблена, но он был очень серьезный, хорошо учился, а меня даже не замечал. Из дома мы выбегали с подружками на Тверской бульвар, который — от памятника Тимирязева до памятника Пушкина — весь был в нашем распоряжении.

Очень интересно было гулять по Тверскому бульвару на Страстной неделе, когда там водили медведей и торговали игрушками китайцы (их тогда было много в Москве): забавным чертиком, который скользил вверх по пробирке, послушным мячиком на длинной резинке, который опять возвращался к тебе, Петрушкой, которого можно было потянуть за веревочку, чтобы он открыл глаза и высунул язык, роскошными веерами, за которыми можно было прятаться, шумными хлопучками и прочими поделками. А рядом продавалось мороженое в баночках, где на крышке были написаны имена — Маша, Саша, Вася, Катя и т.д. В школе меня называли Машенькой, т.к. я играла в детском спектакле «Дедка и репка» внучку Машу в ярком сарафане (это была моя первая роль в жизни).

В эти двадцатые годы мама и папа ходили на премьеры театра Мейерхольтда, которым тогда многие увлекались. Мы ночевали одни. Как-то раз мы так крепко заснули, что не слышали, когда они вернулись со спектакля «Лес». Родители долго звонили и стучали, но тщетно. И тогда нашему соседу В.Н.Любимову пришлось перебраться к нам в открытое окно из своей квартиры на уровне 3-го этажа. Вечером, после работы и школы, мы слушали критический разбор спектакля, который папе решительно не понравился. Так же он отнесся в ту пору и к постановке «Горе уму», повторяя, что это искусство не живое, не эмоциональное, а холодное, рациональное. Таким образом, я с детства была настроена папой на критику мейерхольдовских спектаклей, которые позже увидела.

Когда в школе наш любимый преподаватель литературы И.И.Зеленцов повел наш класс на спектакль «Гамлет», поставленный в Вахтанговском театре режиссером Н.П.Акимовым, я уже отцовскими беседами была подготовлена к его восприятию. Это была моя первая рецензия на спектакль, написанная в школе. Мы, дети, задорно высмеивали такого Гамлета, которого играл А. Горюнов — немолодой, располневший, он изображал сам сцену встречи с призраком отца, взяв в руки глиняный горшок, и текст отца бубнил, засунув голову в глубину горшка. Мы смеялись, чувствуя, что нам показываю скорее комедию, чем трагедию Гамлета. Единственная сцена, когда король Клавдий после «Мышеловки» бежал один в красном плаще вниз по длинной лестнице, произвела на нас впечатление. Как писал тогда об этой сцене П.А. Марков, мы видели «струящийся по лестнице кровавый плащ, к которому был пришпилен актер Р.Н.Симонов».

У меня было много друзей и подруг в школе, я увлекалась спортом и театром, играла большие роли в драмкружке, писала хорошие сочинения красивым почерком. На соревнованиях по спортивной гимнастике у меня было первое место в школе, и третье – в районе. В зале иногда ставили на сцене разновысокие брусья, и я показывала на них все, чем овладела. Мне аплодировал зал, где сидели мои друзья, с которыми мы занимались в спортивной школе, ходили на лыжах и плавали в бассейне, где я прыгала с 10-ти метровой вышки «солдатиком».

Среди этих друзей был один, пожалуй, самый близкий — Толя Пугавко, милый, обаятельный, голубоглазый мальчик. Он был на два года моложе меня, и я называла его ласково — «мой Малыш». Он не обижался и постоянно провожал меня домой, лихо возил на мотоцикле, а на лыжах мы с ним прыгали с трамплина на Воробьевых горах, иногда ломая лыжи. Он был, конечно, в меня влюблен, мне он тоже нравился, но после школы, когда я уже училась в театральном училище, наши с ним отношения решительно пресек мой новый поклонник — Алексей Строев. Я просталась с «моим Малышом», у него в глазах стояли слезы, он прижался к стене, не в силах сдвинуться, и только повторял: «Это жестоко, жестоко, так нельзя со мной, ты понимаешь...»

Случилось так, что именно Алексей Строев стал инициатором моего поступления в театральное училище при театре Революции (до этого я готовилась в архитектурный институт). В школьном драмкружке я играла Настю в «На дне», Наташу в «Чудесном сплаве» Киршона и другие роли рядом с талантливым Андреем Поповым — сыном главного режиссера театра Революции А.Д. Попова, который приходил смотреть Андрея в его первых выступлениях. Он поставил прекрасный спектакль «Ромео и Джульетта» с удивительными актерами М.И. Бабановой и М.Ф. Астанговым и пригласил нас посмотреть его. Мы были потрясены. Так началось мое увлечение театром Революции, где я после школы училась под руководством больших актеров М.М. Штрауха и Ю.С. Глизер.

Проходя осенью 1935 года перед театром Революции, я увидела большую толпу молодых людей, которые готовились к вступительным экзаменам в училище. Из

любопытства я вошла в подъезд, где за столом сидели двое высоких и красивых молодых людей - брюнет и блондин. Они принимали заявления от поступающих. Я подошла к объявлению, чтобы прочитать условия приема, и вдруг услышала за своей спиной: «Вот эту девушку должны принять обязательно!» Я обернулась и сказала: «Это вы обо мне? А я и не собираюсь сюда поступать, у меня другие планы». Тогда брюнет (это был Алексей Строев) стал меня уговаривать — только подать заявление, документов пока не надо. Я села и быстро написала то, что он просил. А потом все завертелось – первый показ, второй, третий... И наконец — список принятых — там я с удивлением увидела свою фамилию – Сканави. Поступало около тысячи человек, постепенно их отсеивали и приняли только двадцать (12 юношей и 8 девушек). Со смутным чувством радости и случайной ошибки я сразу побежала домой. Мы тогда жили на Ленинградском шоссе (теперь – проспекте). Я влетела в комнату, где мама помощница Полина Мартыновна мыла раскрытое окно. «Что с тобой? Ты так взволнована!» Я сказала, что меня — приняли! «Значит, это судьба», — уверенно промолвила она. «Судьба! От нее никуда не уйдешь». Я потом часто вспоминала ее слова, особенно, когда мне было плохо.

В театральном училище я ближе познакомилась с Алексеем Михайловичем Строевым¹², который позже — в 1938 году - стал моим мужем, а потом отцом моего первого сына Андрея (теперь крупного инженера-строителя¹³). Алексей был на три года старше меня и учился на 3-ем курсе училища. Вместе с ним учился В.С. Розов — будущий известный драматург, который тогда жил в Зачатьевском монастыре — в келье у старушки.

Мать Алексея, Елена Ивановна, по доброте душевной нас, голодных студентов, тогда подкармливала. Потом из первого большого гонорара в Детском театре Виктор Розов купил и подарил ей большой цветной телевизор, чем она очень гордилась. Моя мама этой связи с Алексеем не одобряла, она говорила, что он умеет только «стрелять» у нее трешки на папиросы, танцевать и развлекаться. А жить в 30-е годы приходилось уже только на мамину скромную зарплату и мою жалкую стипендию.

Правда, тогда и особенно потом нам постоянно помогал мамин брат и мой крестный отец — Александр Евгеньевич Порай-Кошиц. Он основал в Петербурге и в Москве лаборатории красителей и был уже полным академиком. Приезжая в Москву, он обычно ночевал у нас и перед сном часто заводил споры с моим отцом. Дядя Шура резко критиковал советский режим, папа — защищал. Не случайно, еще в январе 1924 года, папа, облачившись в тулуп, валенки и ушанку, ходил прощаться с Лениным в Колонный зал. В 40-градусный мороз он выстоял всю ночь, согреваясь, как все, у костра, и все-таки увидел Ленина.

Позже, когда мы жили на Ленинградском шоссе в кооперативном госбанковском доме, в нашей жизни случилась страшная беда. Вскоре после переезда на новую квартиру, в 1930 году отца арестовали. Он стал одной из безвинных жертв сталинского режима.

До этого в Госбанке происходила «чистка» аппарата. Однажды, возвращаясь из школы, я зашла к папе на работу - в Госбанк на Неглинной улице. Как обычно бывало, папа после получки водил нас с Шуриком угощаться взбитыми сливками и мороженым в кафе на углу Кузнецкого моста. Но ту произошло что-то пугающее. Я привычно поднималась по широкой мраморной лестнице и вдруг, подняв глаза, замерла: передо мной на стене висели две громадные карикатуры: на какого-то незнакомого мне человека и — на моего отца! А под ними столбиком — какие-то стихи. Отец в свои 48 лет был красив, носил обычно синий костюм с белой рубашкой и галстуком.

¹² Алексей Михайлович Строев (1914–1979), актер.

¹³ Андрей Алексеевич Строев (р.1947), инженер-строитель, предприниматель.

Издательские стихи могли только заметить: «прекрасная внешность, но гнилое нутро!» Это про моего любимого папочку! Как они посмели!

С возмущением я влетела на второй этаж в папин кабинет и, задохнувшись от волнения, крикнула: «Папа, что это такое?!» Отец молча взял меня за плечи, захватил свой портфель и вывел меня из Госбанка на улицу. Больше мы не ходили есть взбитые сливки.

Дома папа сказал нам, что его из Госбанка переводят на Люберецкий завод сельскохозяйственных машин. Это называлось тогда "чисткой" аппарата и «перековкой». Так пытался себя спасти председатель Правления Госбанка Пятаков, которого обвиняли во вредительстве — неправильном кредитовании промышленности и сельского хозяйства. Он все сваливал на «старых спецов». «У меня же целое гнездо вредителей — дореволюционных спецов!» — доказывал он (но себя не спас, его расстреляли позже, в 1937 году).

В 1930 году взяли сначала двоих из нашего дома, их пугали, били, обещали освободить, если они напишут «Госбанковское дело» или «роман» — так тогда называли заключенные состряпанное обвинение во «вредительстве». Там стояла и папина фамилия. Одного из этих двоих я запомнила: Тимофеев вернулся, но прожил в соседнем с нами подъезде недолго, ходил, едва волоча ноги, и вскоре умер.

До ареста у папы на работе случилось опасное посещение: к нему в кабинет зашел греческий торговый атташе и передал ему письмо от матери из Афин на французском языке. Она волновалась, не получая от папы писем (он перестал ей писать после Шахтинского процесса «старых специалистов-вредителей» 1929 года. Нового нашего адреса на Ленинградском шоссе она не знала). Переписка с иностранцами была по тому времени большим криминалом. Этого материнского письма для ОГПУ было достаточно. Отца вызвали с работы на Лубянку и обвинили в том, что его «завербовала» иностранная разведка, а этот «атташе» был на самом деле «шпионом».

«Теперь вы должны работать на нас, — сказали ему, — у вас есть «алиби» — родственники в Греции, вы будете ездить в командировки с нашими поручениями, ведь вы владеете несколькими иностранными языками, мы будем вас посылать за границу». Отец решительно отказался от такого предложения (сказал – «это не в моем характере»). Его терзали 6 часов и под конец бросили в спину зло: «Вы не хотите нам помочь — тогда пеняйте на себя!»

После этой угрозы, папа потерял сон, сидел, придя с работы, в своем кабинете, сгорбившись, в домашней куртке, и молчал. Он ждал самого страшного. И вот, в конце 1930 года, ночью, у нас в квартире раздался резкий звонок. Папа открыл дверь. Вошел военный с ордером на обыск и арест. На площадке остались понятия. Мы вскочили с кроватей в ночных рубашках, дрожь больше от ужаса, чем от холода. Военный перерыл папин стол и книжные полки, ничего не нашел, и резко приказал: «Одевайтесь!» А маме бросил: «Соберите мужу, что надо. Бритву и нож — нельзя!» Мы застыли в коридоре. Папе велели выходить. Он наскоро обнял нас и вышел. Дверь захлопнулась. Мы сели на диван рядом с мамой. Она молча обняла нас за плечи. Мы продолжали дрожать. Так произошло то, чего все тогда боялись. Утром мы узнали, что «черные вороны» подъезжали к каждому подъезду нашего дома и забирали всех, поименованных в списке работников Госбанка.

Потом начались хождения в Бутырку с передачами. Мы ходили с Полиной Мартыновной, замечательной женщиной, которая тогда работала у нас «приходящей». Немка из Латвии, она была брошена своим мужем Павловым, владельцем завода столового серебра. После революции он сразу эмигрировал с капиталом за границу, оставив ее с тремя детьми совсем одну, без средств. Но она не унывала, не боялась любой работы, меня очень любила, перешивала мне платья и юбки из старья, учила

шить, штопать, вышивать, готовить, стирать, печь пирожки и прочее. Все, что я умею по домашней работе, – все от нее. Все, что я умею делать по хозяйству, — все от нее. Мама никогда хозяйством не занималась. Уходя на работу, ставила на газ кофейник, и он у нее обычно убежал. Полина Мартыновна, закончив всю домашнюю работу, давала нам с Шуриком уроки немецкого. А дома ее ждали голодные дети — два сына и племянница. Но она успевала и их накормить, а ночью стирала белье.

В Бутырках передачи у нас чаще всего не принимали, захлопывали окошко. Но завтра мы снова их приносили.

Угроза ареста и ссылки нависла и над нашей матерью, но ее сумел защитить ее брат - академик Порай-Кошиц. Александр Евгеньевич, после ареста папы, очень помогал нашей семье – и материально и духовно. На каникулах мы ездили к нему в Ленинград и на дачу — в Лугу и Вырицу. Здесь нас опекала его жена — для нас тетя Таня¹⁴. Тогда мы дружили с их сыновьями, старшими – Женей и Борей и моим ровесником - Мишей¹⁵, с которым мы как-то раз чуть не утонули в реке Луге. Миша еще не умел плавать и тащил меня за руку в яму. Я с трудом выпрыгивала из воды и видела, что дядя Шура стоит на берегу и никак не может расстегнуть ремешок часов. Мы с Мишей порядком наглотались воды. Но в это время прибежал Женя, вошел в воду и сразу вытащил нас обоих на берег. Тетя Таня, узнав об этом происшествии, всполошилась, но успокоившись, решила нас порадовать и испекла черничный пай. Внутри пая она ставила чашку, которая постепенно наполнялась соком. Это было так вкусно!

Через несколько лет дядя Шура приложил весь свой авторитет, чтобы освободить из тюрьмы своего сына Женю, которого арестовали за организацию философского кружка в Ленинградском Университете, где он тогда учился. После освобождения Женя какое-то время жил у нас в Москве. Со мной дядя Шура часто вел беседы на серьезные политические темы, я их с увлечением впитывала. Под его большим влиянием сложились мои взгляды на жизнь.

Однажды, в середине 1931 года, нас с мамой и братом вызвали в тюрьму — прощаться с папой. Его приговорили к *расстрелу*. Никогда не забуду, как мы увидели нашего отца, стоящего за далекой решеткой в грязной белой рубашке, худого, небритого, заросшего седой щетиной. Я могла только бормотать: «Папа, папа, папочка...» - и слезы стекали у меня по щекам.

Это жуткое решение позже, по воле Сталина, отменили. Ему дали выгодный совет - использовать бесплатную рабочую силу на строительстве, как это было на Соловках и на Беломорско-Балтийском канале. Позже мы узнали, что всем однодельцам из Госбанка дали по 10 лет и перевозят в Караганду. Оттуда мы получили от папы первые письма. В угольном бассейне Карлага их держали около года, а потом повезли на Дальний Восток. Они ехали, как все заключенные, в теплушке для скота с маленьким зарешеченным окошком. Состав двигался медленно, никого на улицу не выпускали, кормили какой-то баландой из ведра, спали на нарах. Выгрузили в городе под названием "Свободный" (?!), где начиналось сооружение БАМ - вторых путей Байкало-Амурской магистрали - недалеко от Китайской границы.

Здесь они узнали, что необходимую рабочую силу по разным специальностям вытребовал себе начальник БАМ-лага Френкель¹⁶. Тот Френкель, который сам был

¹⁴ Татьяна Ивановна Порай–Кошиц, урожд. Умнова (ум. 1948).

¹⁵ Евгений Александрович Порай–Кошиц (1907–1999), физик, профессор, лауреат Ленинской премии (1965). Борис Александрович Порай–Кошиц (1909–1969), химик, профессор, зав. кафедрой органической химии Технологического института. Михаил Александрович Порай–Кошиц (1918–1994), кристаллохимик, член–корреспондент Академии Наук (1974).

¹⁶ Нафталий Аронович Френкель (1883 – 1960), один из создателей ГУЛАГа , генерал-лейтенант

зеком на Соловках, там организовал работу заключенных на стройке, был досрочно освобожден и переведен на строительство Беломорско-Балтийского канала, который был ударными темпами (с огромными людскими потерями) завершен. Начальника строительства Френкеля наградили орденом Ленина и поручили возглавить БАМ-лаг.

В городе Свободном я побывала на каникулах школьницей последнего, 10 класса, вместе с матерью летом 1934 года, когда отец, за хорошую двухлетнюю работу в качестве плановика железнодорожных перевозок, получил разрешение на проезд родных. Мы ехали в обычном жестком плацкартном вагоне 12 суток. На каждой станции я выпрыгивала с верхней полки на платформу, чтобы купить что-нибудь съестное. Особенно долго мы шли по берегу Байкала, любуясь необычайной красотой знаменитого озера. Поезд нырял в туннели, в темноте зажигалось электричество, мы долго ждали, и вдруг в лицо ударял свет и простор волшебного озера. Так ехали мы больше суток, и под конец остановились на берегу. Здесь можно было поплавать вместе с рыбками в прозрачной воде и выйти на берег по камушкам, как бы совершив святое омовение, а в награду получить копченые омули. Это был неожиданный подарок судьбы.

Папа встретил нас на платформе, уже наняв извозчика. Тот быстро подхватил наши вещи, посадил нас и довез до небольшого домика, где папа снял для нас комнату. Ему это разрешили за «ударный труд». Здесь мы узнали, что БАМ-лаг жил по своим законам, установленным Френкелем. Папа был уже представлен к награде медалью "За ударный труд", ему полагались особые льготы: столовая ИТР (инженерно-технических работников), выход за пределы лагеря, посещение кино и концертов, приглашение родных, свидания с ними по вечерам.

Но главное, что нас очень обрадовало, были «ударные зачеты». Здесь за добросовестный труд один день засчитывался за два! Значит, срок заметно сокращался, и бывшие зеки становились вольнонаемными. Папа работал безупречно, кроме того читал зекам лекции по разным специальностям (что ему было вполне доступно в силу энциклопедического образования). Он не жалел сил и времени, ожидая в перспективе стать вольнонаемным и жить в снятой в городке комнате. По вечерам папа приходил к нам с мамой, приносил арбуз или дыню, и мы весь вечер были с ним, вдоволь наговорившись обо всем. Тут впервые он рассказал, как его допрашивали в Бутырках (в письмах он об этом даже не упоминал): ему не давали спать по двое-трое суток, обливали из шланга с ног до головы холодной водой, ставили под резкий свет прожектора, не разрешая садиться. Следователи сменялись каждые три часа и все выколачивали из отца признание, что он был «вредителем».

Обвинение во вредительстве фабриковалось элементарно: «Вы сокращали кредитование черной металлургии?» — «Да, но по указанию Правления Госбанка, так как необходимо было расширить кредитование сельского хозяйства в 1929 году — во время коллективизации». — «Но объективно вы этим вредили развитию промышленности?» — «Объективно — да, это мешало развитию черной металлургии, кредитованием которой я тогда ведал, хотя субъективно я был против таких решений Правления». — «Значит, субъективно вы были против, а объективно соглашались, чем и вредили! И вы не протестовали против таких вредительских решений?» — «Нет, это было невозможно, нашего мнения никто не спрашивал». — «Вот вы и доказали свою политическую инертность, слабость своей позиции. Так и запишем: Субъективно вы были против, а объективно соглашались, значит, вредили». Такой казуистикой можно было доказать все. «Подпишите протокол допроса». Отец отказывался подписать, тогда его хлестали резиновой плеткой по ногам, по голове. Отец не выдерживал истязаний и

падал без чувств на мокрый, грязный пол. Его тащили за ноги через длинный коридор и бросали в камеру. Здесь он лежал, пока не приходил в сознание. Потом сокамерники подтаскивали его к нарам и кидали на них как попало. Папа проваливался в тяжелый сон. Так поступали с каждым заключенным. И каждый, в конце-концов сломанный, подписывал протокол допроса, лишь бы избавиться от истязаний. В Бутырках папа узнал, что его сослуживцы — Коробков, Рочко, Лепешкин¹⁷ и другие подвергались таким же допросам–пыткам.

После этих рассказов я провожала папу до лагеря. Уже было темно, но все небо сверкало звездами. Папа, как когда-то в Крыму в Коктебеле, в моем детстве, показывал мне крупные созвездия и планеты. Он знал звездное небо наизусть. Астрономия была одним из его любимых хобби. И я даже одно время хотела стать астрономом после школы. А теперь, когда я поднимаю глаза к звездному небу, всегда нахожу любимые созвездия, вспоминая папины уроки, легко определяя главные и особые, мною избранные, как ясное созвездие Весы, которое всегда стоит в зените.

Днем я иногда ходила на местный стадион, заросший травой, и даже участвовала в забегах, получая фото на память. Разумеется, заглядывала на почту и телеграф, чтобы связаться с Шуриком (он летом уже работал по своей будущей специальности — отопление и вентиляция), отправить письма ему и Полине Мартыновне, купить газеты, сходить на рынок за продуктами, т.к. мы с мамой готовили еду на керосинке. По воскресеньям нас иногда приглашала вместе с папой жена госбанковского зека Виталия Славича Коробкова — Вера Константиновна, которая жила в том же доме, что и мы, и воспитывала двух сыновей — Гаврика и Толю, с которыми мы дружили в школе и дома. Здесь, в Свободном, она спасала папу от одиночества своим обаянием и красным борщом. А я заходила к ней, когда она жила в Москве, по-прежнему добрая и красивая.

Теперь в городе Свободном уже нет БАМ-лага, вторые пути действуют исправно из Владивостока до Хабаровска (в отличие от 2-го БАМа, рельсы которого провалились в зону вечной мерзлоты). А во время войны рельсы 1-го БАМ-лага с веткой на Тайшет пригодились нашим сибирским войскам, шедшим в Сталинград на подмогу его защитникам от немцев. Солдаты прокладывали впереди себя шпалы и рельсы и по ним, по приказу Жукова, шли войска, ехали танки, чтобы выиграть битву за почти разрушенный город.

С 1936 года мой отец жил и работал вольнонаемным в том же Свободном, пока не получил паспорт. Но в нем был поставлен жирный штамп «минус 39». Это означало, что он не имел права жить в крупных «режимных» городах. В 1937 году он отправился в небольшой городок Семенов близ Горького. Но городок оказался переполненным бывшими заключенными с иностранными фамилиями. Тут отца снова арестовали, и он еще год промаялся в набитой битком тюремной камере, пока начальство тюрьмы не сочло за благо выпустить на волю тех, за кем не было никакого «дела».

Отец вышел из тюрьмы в 1938 году и перебрался поближе к нам — в город Тамбов. Здесь он нашел комнату с заботливыми хозяйками и работу плановика в одном из тамбовских учреждений. Там он провел предвоенные годы, изредка появляясь у нас в Москве (но никогда не ночуя дома).

¹⁷ Виталий Славич Коробков, в 1922 г. директор Правления Внешторгбанка. Григорий Викторович Рочко (1886–после 1958), окончил Петербургский Политехнический институт, экономист и поэт. По приговору Коллегии ОГПУ 25 апреля 1931 г. Рочко был осужден по статье 58-7-11 на десять лет (см. публикацию о нем: «В начале и в конце жизни. Переписка Г. В. Рочко с В. В. Розановым и А. Т. Твардовским» // Новый мир, 1996, №3). В. 1922 г. Василий Арсеньевич Лепешкин работал заведующим Главной бухгалтерией Госбанка.

Перед войной мама послала нас с Шуриком навестить папину тетю – Амалию Скараманга¹⁸ в Ростове-на-Дону. Она осталась там одна после отъезда в Афины своей сестры Александрины и после смерти в 1930 году своего брата — Жоржа Скараманга. Она любила моего отца и посылала ему трогательные посылки в концлагерь города Свободный. Мы нашли тетю Амалию в полутемной комнате со старыми вещами и запыленным окном. Маленькая, хрупкая старушка прослезилась, увидев нас, и не знала, чем только нас угостить, что подарить нам на память. Мы смущенно отказывались, передав ей только письмо нашей мамы и фотографии. Но она все-таки налила нам по чашке чая с медом. Бедная тетя Амалия войну не пережила, она умерла в 1943 году. Когда я потом приезжала в Ростов-на-Дону в командировку и попыталась найти хотя бы ее комнату, никаких следов ее жизни уже не осталось.

Меня только свозила в «Змеевую балку», где стоял памятник всем погибшим жителям Ростова от рук фашистов (очевидно, среди них была и жена брата папы — Кости, а он сам, арестованный, был расстрелян в концлагере)¹⁹. Сейчас я смотрю на стереоскопические фотографии, сделанные молодым Костей в 1913 году — какая красивая жизнь росла в Ростовском доме с зимним садом и большим ухоженным парком, спускавшимся к берегу Дона. Какие прекрасные дети матери Александрины — почти чеховские сестры и братья — жили тогда в этом доме, дружные, любящие друг друга, так много обещавшие в будущем. Кому же нужно было растоптать, рассеять по миру эту достойную Чехова жизнь?..

В начале войны я уже училась на театроведческом факультете ГИТИСа. (Актерская судьба мне все-таки не задалась, тем более, что Театр Революции, где после училища я играла два года в массовках и Юношу в алом плаще в «Ромео и Джульетте», теперь срочно эвакуировался.) Я дежурила по утрам в госпитале, а по вечерам сбрасывала зажигалки с крыши ГИТИСа, возвращаясь домой под бомбежкой. Шурик был отправлен на стройку оборонительных сооружений под Москвой и в Ельне. Муж мой разъезжал всю войну по фронтовым частям с коллективом актеров «Веселый десант». Мама часто дежурила в своих больницах по ночам, так что я оставалась дома одна, в бомбоубежище не ходила.

В один из таких дней, когда я была дома одна, вдруг со двора послышались знакомые «позывные» Толи Пугавко. Я выскочила на балкон и увидела его на мотоцикле в военной форме. «Ты дома! Я сейчас поднимусь!» — крикнул он. Я открыла дверь. Толя быстро влетел на 4-ый этаж, обнял меня и вместе со мной прошел в комнату. Я хотела принести ему кофе, но он отказался: «Не уходи, побудь со мной, я тороплюсь». Оказалось, что он был отпущен из своей воинской части в Москву только на один день – для получения ордена Красной Звезды, и сегодня же вечером должен вернуться. Я смотрела на него и не узнавала. Куда девался его прежний мальчишеский облик? Он был другой, взрослый, хотя совсем недавно окончил школу. Даже со мной он говорил не как «мой Малыш», а снисходительно, как старший. «Ты замужем? За тем же Алексеем? Дети есть?» Я смутилась: «Да, но детей нет». — «Так, может быть, ты все-таки меня подождешь, когда я вернусь с фронта?» – «Конечно, подожду...», — сказала я и погладила его жесткую щеку. Он взглянул на часы и заторопился. «Я опаздываю! Если смогу, приеду еще раз». Он обнял меня, крепко прижал к себе и

¹⁸ Амалия Ивановна Скараманга (1866–1943).

¹⁹ Константин Александрович Сканави (р. 1888), увлекался фотографией и мотоциклами, учился на юридическом факультета сначала в Петербурге, а затем в Казанском университете, работал адвокатом в Ростове. Он женился в 1915 г. на Цецилии Островской, у них родились дети Ирина (1915–1928) и Георгий (1920–1942 или 1943). Константин Александрович был арестован во время сталинских репрессий, сослан в Сибирь и вернулся в Ростов перед войной. Когда немцы захватили город, то стали уничтожать евреев. Чтобы не расставаться с женой, Константин Александрович заявил, что он тоже еврей, и разделил ее участь.

поцеловал. «Помни, что обещала! Я вернусь», — говорил он, уже идя к двери, и быстро побежал вниз. Я вышла на балкон с бьющимся сердцем и увидела, как Толя, разворачивая мотоцикл, помахал мне рукой на прощанье и крикнул: «Я вернусь!..»

Но не вернулся. Его старшая сестра — красавица Ада — потом мне рассказывала, что Толя был убит прямым попаданием снаряда, когда вызвался ехать один на разведку, и от него и его мотоцикла осталось одно колесо, которое и положили на холмик вместо могилы. Я возвращалась в метро и не могла сдержать слез... Теперь в нашей школе №110 стоит памятник мальчикам, погибшим на фронте, и среди них — мой Толя... Забыть я его не могу.

Иногда мне казалось (особенно после 16-го октября 1941 года, когда многие москвичи покинули город на машинах и даже пешком, а по улицам летали сожженные бумаги), что немцы приближаются к нашему дому на Ленинградском шоссе. Ведь они стояли уже в Химках. Тем не менее занятия в ГИТИСе постепенно возобновлялись по нарастающей. Прекрасные педагоги, оставшиеся в Москве или уже вернувшиеся из эвакуации, читали нам лекции в замороженных аудиториях Университета.

Алексей Карпович Дживилегов приходил к нам в белых бурках, в меховой шапке и шубе с бобровым воротником, даже не снимая перчаток, так как в нашей аудитории была минусовая температура. Он читал нам увлекательные лекции об итальянском театре, свободно переносил нас то в гондолы Венеции, то на жаркие улицы Флоренции, переполненные красивыми, ярко одетыми людьми, которые весело пели, танцевали, шелкали кастаньетами и смеялись, глядя на забавные представления комедии дель-арте. Он так сам увлекался, вспоминая свои поездки в Италию, что снимал меховую шапку, перчатки, сбрасывал на стул свою шубу. А мы, увлеченные, не замечали замерзших чернил, наших грубых тетрадок из старых обоев, не обращали внимания на высокие сосуды с заспиртованными зародышами, стоявшие вдоль стен (это была прежде аудитория биофака МГУ на улице Герцена, теперь Большой Никитской).

В перерыве ко мне, как к старосте курса, подошла какая-то замотанная в драный платок и в вытертую кроличью шубейку фигура и спросила: «Ты не узнаешь меня, Маришка? Я — Таня Бачелис». Ее невозможно было узнать. Оказалось, что она только что вылезла из пропыленного черного танка, на котором ее подвезли из эвакуации. А я знала ее еще до войны, когда она приходила на лекции театроведческого факультета в нарядном шелковом платье, с вьющимися локонами длинных волос, чуть прихрамывая на высоких каблуках. «Запиши меня в ваш список студентов, я буду учиться вместе с вами», — сказала Таня.

Алексей Карпович всех нас очень любил. При встрече на лестнице весело чмокал в щеку (за что мне доставалось от мужа — он был очень ревнив). «Бедные мои девочки, у вас на весь курс — один мальчик и тот Лоритто (т.е. среднего рода)», — шутил Алексей Карпович.

Летом наш факультет вместе со студентами филологического факультета МГУ был отправлен на заготовку дров для Москвы в Талдомский район, где стоял высокий строевой лес. Эти громадные сосны мы, девочки, и валили, потом пилили и трелевали на дрова. Я, как староста курса, и здесь была командиром. Под конец на мою ногу свалилась, потанцевав на ветвях, спиленная толстая сосна и раздробила мне стопу. Девочки мои плакали, а проезжие мужики с большим трудом меня вытащили и отвезли в местную больницу. Там я пролежала в гипсе почти месяц, вернувшись в Москву, когда занятия в ГИТИСе уже начались. Я пришла на них еще хромая, но не унывающая. Тем более, что мне назначили Ленинскую стипендию, ведь я училась на все пятерки.

Вскоре нам позвонила из Тамбова перепуганная хозяйка дома, где жил папа, и едва выговорила: «Николая Александровича засыпало под бомбежкой, обрушился дом, где он работал. Сейчас его с трудом откопали и увезли в больницу». Шурик, работавший прорабом в городе Ряжске Рязанской области на строительстве военного аэродрома, спешно отправился в Тамбов и застал отца в тяжелом состоянии. Его спасли только отцовские круглые часы с крышкой, которые передала ему мать еще в Ростове, на память о рано умершем отце. Они лежали у него в нагрудном кармане толстовки. Удар пришелся по крышке, она даже прогнулась, но сердца не затронул.

Отец больше месяца пролежал в больнице, а потом на квартире у добрых хозяек. В это время Шурик оформлялся на строительство нефтеперегонного завода в городе Гурьеве на Каспийском море. Он договорился, чтобы отец тоже поехал вместе с ним на работу по своей специальности в город Гурьев. В Ряжске формировался состав из теплушек. В самый последний момент перед отправлением состава появился папа, Шурик втащил его в вагон и папу «поставили на довольствие» в теплушке.

В Гурьеве папа с Шуриком сняли домик, где прожили вместе более двух лет (включая болезнь Шурика – брюшной тиф). Они работали там, каждый по своей специальности, - строителя и плановика, присылая нам с мамой посылки - иногда даже с черной икрой (в Гурьеве ее тогда было много).

Все шло отлично, но когда Шурик попробовал вступить в партию, его не приняли (из-за отца). Весной 1946 года, после окончания стройки, Шурик вернулся в Москву и стал готовиться в аспирантуру Строительного института (ведь он окончил институт фактически в день начала до войны) - МИСИ, где он потом работал почти всю жизнь. А папа летом 1945 года — по совету «знающих» людей — отправился в Краснодар, где с трудом устроился на работу и нашел комнату. Мы с мамой тоже к нему туда приезжали.

Но этот город встретил папу неласково, на работе старожилы на него поглядывали косо. Папа все терпел, но под конец, узнав, что Краснодар тоже город «режимный», все-таки решил вернуться в знакомый Тамбов, где его приняли прежние хозяйки. Здесь снова нужно было искать работу, унижаться перед новым начальством. Папа все сносил терпеливо, так как из Тамбова он иногда по выходным дням приезжал утром в Москву, чтобы вечером вернуться обратно, так ни разу дома и не переночевав.

Шли годы без перемен. Сталинский режим, развернувший в 30-е годы политику и практику уничтожения русской интеллигенции, перед войной перекинувшийся на крупные партийные и военные кадры, теперь вел жестокую борьбу против известных врачей, писателей и поэтов, композиторов, режиссеров и актеров. Все началось еще раньше — с великого актера Михаила Чехова и созданного им МХАТ 2-го — прекрасного театра, где мне удалось увидеть почти все его лучшие спектакли. Михаил Чехов успел эмигрировать в 1926 году, не поддавшись на уговоры Станиславского и Мейерхольда вернуться, а МХАТ 2-ой потом тоже ликвидировали. Последний его спектакль – «Мольба о жизни» звучал символически. Лучшие актеры театра Чехова во главе с И.Берсеневым, С.Бирман и С.Гиацинтовой перешли в театр Ленинского комсомола, куда я потом часто ходила. Позже уничтожили театр Мейерхольда, а его создателя - гениального режиссера Мейерхольда (несмотря на защиту Станиславского, который пригласил его работать в своей оперно-драматической студии), арестовали в 1938 году и расстреляли перед самой войной - в 1940 году.

После войны, в 1946 году, наш курс заканчивал свое обучение в ГИТИСе, и мы весело прощались с нашим любимым педагогом по критике — Григорием Нерсесовичем Бояджиевым, учеником Дживилегова, вместе с которым они написали первую большую книгу по истории западно-европейского театра, по которой мы все учились. Теперь молодой Бояджиев стал одним из самых одаренных театральных

критиков и нас многому научил своим примером. Мы купили цветов и фруктов. И каждый из нас, кто хотел, брал слово и говорил ему о том, чему он его научил. А под конец Таня Бачелис высоко подняла венок, сплетенный из роз, и торжественно возложила его на голову Григория Нерсесовича. Все аплодировали, а смущенный Бояджиев стаскивал колючий венок с головы и снижал наш восторженный пафос: «Ну что вы, девочки, делаете, что я вам балерина, что ли?»

Думал ли кто-нибудь из нас, тогда счастливых, что вскоре нас ожидает совсем другое прощание с нашими замечательными преподавателями? В 1948-1949 годах в ГИТИСе прошла омерзительная травля «космополитов». Сначала была напечатана разгромная статья в «Правде», где были названы «космополитами» самые талантливые наши ученые и критики, преподававшие тогда в институте. ГИТИС стал эпицентром этой позорной борьбы с «космополитами» — теми, кто «преклонялся» перед зарубежной культурой. Сначала сняли с работы директора — известного профессора С.С.Мокульского, а потом отстранили от преподавания наших любимых учителей — Б.В.Алперса, Г.Н.Бояджиева, А.К.Дживилегова, шекспироведов М.М.Морозова и А.А.Аникста, искусствоведа А.М.Эфоса, литературоведа Гр.Гуковского и других. Студентов заставляли от них отрекаться. Возглавлял эту кампанию бездарный, агрессивный и спившийся драматург Анатолий Суров. Собрав всех студентов в зале, он залезал на сцену, хватал в руки трибуну и хрипло кричал: «Я с отвращением ложу руки на эту трибуну, с которой вам читали лекции безродные космополиты!»

Вместо прежних высоко образованных, талантливых преподавателей в ГИТИС прислали малограмотных, невежественных, к тому же сильно пьющих людей, которые по-своему стали «воспитывать» студентов. Эта власть бездарности и хамства быстро разложила коллектив. Протестовали единицы, большинство отмалчивалось.

В это время я уже училась в аспирантуре на кафедре русского театра под руководством замечательного ученого, критика и писателя, специалиста по МХАТу П.А. Маркова (его не посмели тронуть, потому что он параллельно работал в «престижной» Академии общественных наук). Вместе с ним я выбрала тему кандидатской диссертации — «Чехов и Художественный театр». За это меня резко «прорабатывали» на комсомольском собрании под председательством Виктора Симоняна, предлагая «пессимиста» Чехова сменить на «оптимиста» Горького. Разумеется, я отказалась, чем подорвала доверие нового руководства. Подготовив диссертацию к защите, я перешла на работу в Министерство культуры, где был создан репертуарно-редакторский отдел, куда меня уже приглашали.

Здесь новым министром культуры вскоре был назначен Д.Ф.Пономаренко, человек прогрессивных и смелых взглядов, которого хорошо знал и ценил Н.С.Хрущев, сменивший умершего Сталина на его посту. Пономаренко сразу оздоровил атмосферу министерства, ввел другие, более разумные и свободные правила рассмотрения новых пьес и приемки готовых спектаклей. К сожалению, он проработал на этом посту только год. После чего Хрущев отправил его на целину, где Пономаренко тоже показал себя умным и дальновидным руководителем, добился первого большого урожая на целинной земле. После него Министром культуры стала Е.А.Фурцева, бывший комсомольский работник, у которой не хватало ни культуры, ни опыта, ни смелости для продолжения линии Пономаренко, и скоро все вернулось на прежнюю проторенную колею.

У меня уже рос первый сын — Андрей, с отцом которого я разошлась, сохранив фамилию — Строев — для сына и для себя. Эта фамилия стояла на первых моих книгах и статьях. По тому беспокойному времени она казалась более приемлемой, чем прежняя моя — отцовская. Теперь я об этом очень жалею.

Моя мама очень любила маленького Андрюшу, но у нее никогда не было свободного времени. Приходя с работы, она часто говорила: «Как я устала. Я сейчас подремлю минут 15, мне достаточно, а потом я снова побегу в свою больницу». Сложной и почти неразрешимой проблемой для меня в эти годы было подыскание няни для маленького Андрея (он родился у меня в 1947 году, когда я уже работала над диссертацией, и друзья мне говорили — ребенок у тебя будет очень умный. Так и получилось). Но те няни, которые к нам приходили, по разным причинам оказывались совсем неподходящими. Я уже отчаялась найти хорошую няню, когда в дверь позвонили. Я открыла и увидела на площадке милостивую девушку со здоровым крестьянским румянцем. «Вам няня нужна, мне сказали?» — робко проговорила она. «Да, да, нужна! Заходите, поговорим». — «Нет, я здесь постою». — «Да заходите же в квартиру, чего вы боитесь?» Она несмело вошла и села в прихожей на стул, сжимая в руках узелок.

Выяснилось, что она — Лида — приехала из какой-то белорусской деревни (откуда родом была моя знакомая актриса Л.Касаткина, с которой мы параллельно учились в ГИТИСе). Я познакомила Лиду с проснувшимся Андрюшей. Он был очень хорошенький, голубоглазый (в бабушку) и светлоголовый, но худенький, так как часто простуживался, болел и плохо кушал. Лиде он сразу понравился, и она подняла его на руки — «какой легонький», — сказала она и погладила его по белой головке. Андрюше Лида тоже понравилась. (Когда мы с ним гуляли, он постоянно просил: «Мама, возьми меня ручки, у меня ножки болят».) Так состоялось первое знакомство. Я показала Лиде чем его сейчас покормить, во что одеть, когда они пойдут гулять, и сказала: «Вот макароны, их надо сварить в этой кастрюле. Поешь сама с этими котлетами и дай всем, кто придет домой». Говоря это, я быстро оделась и убежала в музей МХАТ, где изучала архив Станиславского.

Оттуда я позвонила Лиде. «Ну, как дела? Макароны сварила?» Она была растеряна: «Нет, они не варятся, вылезают на плиту...» Я взяла свою рукопись и отправилась домой. Оказалось, что Лида никогда не видела макарон, и пыталась затолкнуть в кастрюлю всю пачку, а они упрямо вылезали из кастрюли на плиту.

Лида работала у нас долго и легко освоила все московские премудрости. Когда она потом вышла замуж за военного, у нее родились две дочери, а муж со временем получил чин полковника и хорошую квартиру. Мы все ее любили, как родного человека.

Когда Андрюше было 4 года, в моей личной жизни произошли перемены: я вышла замуж за Федора Семеновича Наркирьера²⁰, с которым одновременно мы писали в Ленинке кандидатские диссертации, а до войны учились в одной школе. Он успел после школы окончить ИФЛИ, прошел трудные годы на фронте, а после ранения — в госпитале. Теперь он преподавал зарубежную литературу и французский язык в ВИЯКе, где готовили студентов со знанием языка для работы за границей. Его пригласил туда А.А.Аникст, который знал его еще студентом ИФЛИ. Сам Аникст после фронта заведовал кафедрой зарубежных литератур. Но его и здесь затронула борьба с «космополитами» и блестящий лектор, знаток Шекспира остался без работы. Мы с Федей, как могли, ему тогда помогали.

По контрасту с Алексеем Строевым и мне и моей маме Федя понравился, а потом его оценил по достоинству и мой отец. Андрюша, который уже знал своего отца, моего нового мужа не принял. Когда мы с ним и с Федей пошли гулять, я вела его за руку, а Федя попросил дать ему другую руку. «Нет!» — крикнул мальчик и спрятал другую руку за спину. Федя сам, как ребенок, обиделся и с этого времени невзлюбил

²⁰ Федор Семенович Наркирьер (1919–1997), доктор филологических наук.

моего сына. Тем более, что Алексей обожал Андрюшу, всячески его баловал и доставлял одни удовольствия. Когда Андрюша подрос, Алексей занимался с ним спортом — фигурным катанием, байдаркой и баскетболом. Сам Алексей освоил фотографию и очень успешно и часто снимал Андрюшу. Потом он женился на молодой заботливой женщине²¹, которую привез из Ялты в Москву, где она стала работать в кафе Прага, и мужа хорошо кормила.

В эти годы мы уже жили на другой квартире. В том же доме построили во дворе еще два корпуса, и нам пришлось туда переселиться, так как на нашу 4-х комнатную квартиру в первом корпусе претендовало какое-то начальство. Сюда, в 2-х комнатную квартиру, стал приходить умный, хорошо образованный человек в военной форме с цветами в руке — мой новый муж Федя.

В репертуарно-редакторском отделе мне поручали готовить к распространению пьесы известных и начинающих драматургов. Здесь я одобрила и выпустила в свет смелую, по тому времени, пьесу молодого талантливого драматурга Леонида Зорина «Гости». Ее вскоре подвергли резкой критике в партийной печати за то, что драматург впервые показал - в нашей жизни появился новый класс буржуазии. Пьеса эта была только что поставлена в Ермоловском театре режиссером А.М.Лобановым с большим общественным резонансом, но тут же запрещена и снята с репертуара.

Меня снова «прорабатывали» на партийном собрании Министерства, и даже моя сокурсница по ГИТИСу Валя Цирнюк с возмущением кричала: «Никому не позволено нарушать Постановление ЦК партии 1946 года по репертуару драматических театров!» Но тут вскоре за меня заступился известный драматург Н.Ф.Погодин, главный редактор журнала «Театр», который уже напечатал пьесу «Гости» у себя в журнале. Он пригласил меня работать в редакции «Театра», куда я с радостью перешла. После 3-х летней работы в Министерстве культуры, я стала заведовать в погодинском журнале отделом драматургии. Погодин подобрал свободно мыслящий, одаренный коллектив, который превратил «Театр» в один из самых интересных журналов в стране. Работали дружно и безоглядно во главе с его заместителем А.Н.Анастасьевым, с которым мы близко сдружились. Я легко вошла в этот замечательный коллектив, здесь я стала публиковать свои первые статьи и редактировать пьесы, которые принимал Погодин.

Мой отец в письмах очень одобрял эти перемены в моей жизни. Еще в студенческие годы он был большой театрал, увлекался искусством В.Ф.Комиссаржевской, на каждую премьеру которой он вместе с друзьями преподносил корзину цветов. Если бы в его жизни не произошли тяжелые события, которые помешали ему развить свои склонности и дарования, я уверена, что отец стал бы большим специалистом по театральному искусству или создавал бы статьи и книги о поэзии 19-го века, которую отлично знал и любил (даже в БАМ-лаге он не расставался с томиком Тютчева — этот поэт очень отвечал его душевным настроениям — об этом отец писал нам из Свободного в больших письмах).

В журнале «Театр» я писала чаще о чеховских спектаклях МХАТ — «Три сестры», поставленные Вл.И.Немировичем-Данченко в 1940 году, оставались для меня высоким эталоном. Из новых чеховских спектаклей МХАТ меня покорила только Б.Г.Добронравов в роли Войницкого. «Дядю Ваню» поставил в 1947 году ученик Станиславского — М.Н.Кедров, но кроме Добронравова, все остальные актеры играли на уровне традиционном. Для меня новый Войницкий был поистине подарком, потому что как раз в это время я заканчивала свою небольшую книжку о Добронравове, и от него лично знала о волнующем, высоком замысле актера (об этом он рассказывал мне до и после премьеры, когда я приходила к нему домой — до и после рождения Андрея).

²¹ Галина Строева.

В журнале «Театр» у меня сложился свой стиль, своя манера высказывания. Мои статьи отличались откровенностью позиции, смелостью формулировок и полемичностью по отношению к статьям критиков прямо противоположных взглядов. Полемика между разными направлениями в критике приобретала в эти годы резко выраженный характер. Наша редакция во главе с Анастасьевым смело и решительно отстаивала свои прогрессивные взгляды, печатая полемические статьи по отношению к материалам, публиковавшимся в журнале «Театральная жизнь», который возглавлял критик Юрий Зубков и его единомышленники, отстаивавшие свои явно реакционные взгляды. Эта борьба двух направлений в театральной критике приобретала тогда такую остроту, что затрагивала всех нас, работавших в журнале «Театр».

В 1955 году у нас с Федей родились близнецы — мальчик и девочка. Я выносила их с большим трудом, так как они вместе весили семь кило, и врачи предполагали летальный исход. В роддоме имени Грауермана на Молчановке была сенсация. Меня все поздравляли. Друзья передавали букеты цветов. А я лежала почти без сознания. Но все обошлось благополучно.

Дома начались сложности с кормлением — ведь я должна была каждого ребенка кормить через три часа. Девочка аккуратна и деловито высасывала свою грудь, а мальчик захлебывался, плакал и недоедал. Пришлось сцеживать ему молочко и кормить из бутылочки. С этим ловко справилась новая няня Шура, и в 3 месяца сын набрал хороший вес, а няня, увидев его фотографию, сказала: «Умный председатель». Девочку сразу окрестил Леня Зорин: «Какая красотка!», и не ошибся. Девочку мы назвали Еленой (Лялей), а мальчика — Александром (Сашей)²².

Близнецов я возила гулять в двойной коляске по аллейке Ленинградского шоссе, где цвели молодые липки, а с кондитерской фабрики часто доносился аромат только что испеченных печений. Дети поправились и выглядели в своих гарусных костюмчиках — голубом и розовом — прелестно. Все на них любовались. Вдруг я увидела на той же аллейке Валю Цирнюк — она бежала вперед, едва удерживая на поводках двух молодых бульдогов. Пробегая мимо меня, она громко выпалила: «Это твои дети? А эти двое — мои!» и понеслась вперед, едва успевая за своими бульдогами.

Когда мой "декретный" отпуск кончился, я вышла на работу, оставляя детям сцеженное молоко. Няня подкармливала их из бутылочек, взятых в детской консультации. На работе у меня в ящиках стола скопилось много пьес и статей, мною не читанных. Надо было срочно вычитать пьесу, которую готовили в номер. Меня торопили, но я почти все ночи не спала и потому работала с трудом. Ответственный секретарь редакции вызвала меня к себе в кабинет и строго заявила: «Вы же не можете работать. Нечего обманывать государство! Подавайте заявление об уходе!» У меня слезы брызнули из глаз. Я выбежала в общую комнату и села за свой стол, закрыв лицо мокрым платком. Друзья окружили мой стол и сразу позвонили Погодину. Николай Федорович был в Москве и быстро приехал в редакцию. «Я сейчас распоряжусь, сказал он мне. — Вы будете готовить только одну пьесу в очередной номер. Все остальные пьесы и статьи мы раздадим другим сотрудникам. Ну, так годится?» Я улыбнулась. «Спасибо, Николай Федорович, вы меня спасли!»

Постепенно все вошло в норму. Я стала не только готовить очередную пьесу в номер, но и писать статьи о новых спектаклях, которые успевала посмотреть. Меня пригласили в Союз Писателей. Рекомендацию мне дал Н.Ф.Погодин. Он написал коротко и ясно: «В отличие от других критиков, М.Н.Строева обладает своей позицией, своим взглядом на мир, и не боится их высказывать. Вот почему я без колебаний

²² Елена Федоровна Строева (р. 1955), актриса, и Александр Федорович Строев (р. 1955), доктор филологических наук, профессор Сорбонны.

рекомендую принять ее в Союз Писателей». В это время у меня вышла из печати книга «Чехов и Художественный театр», и меня приняли в Союз Писателей, где я потом много лет работала на общественных началах, как член комиссии по критике и литературоведению.

Откровенность моих высказываний вскоре была замечена «наверху» и тогда я снова пережила резкую партийную критику на высшем уровне — теперь за то, что в своей статье «Критическое направление ума» высоко оценила первую пьесу Александра Володина «Фабричная девчонка». Эту пьесу принесла мне в редакцию Д.М.Шварц – завлит театра Товстоногова. Я быстро, с волнением ее прочитала, передала Н.Ф.Погодину и вызвала из Ленинграда Володина.

Погодин тоже быстро прочел пьесу и прислал за нами машину (он жил тогда на даче в Переделкино). Николай Федорович встретил нас достаточно сурово. Он сказал, что автор безусловно талантлив, у него большое будущее, но эта пьеса принесет ему и журналу (если мы ее напечатаем), серьезные неприятности. «Я готов напечатать, если вы на это решитесь», - сказал он. Володин был обескуражен, но все-таки дал Погодину свое согласие.

Когда пьеса была напечатана, ее сразу поставили во многих городах, и зрители приняли ее с молодым энтузиазмом. Я посмотрела спектакли — в Москве, в ЦТСА, ее поставил Б. Львов-Анохин с Л.Фетисовой в главной роли Женьки Шульженко, в Ленинграде фабричную девчонку играла Т.Доронина в Ленкоме, в Казани, в Ставрополе — везде молодежь митинговала прямо в зале. Статью мою «Критическое направление ума» напечатали вслед за пьесой в том же номере. Заголовок я взяла из реплики героини пьесы: «А что если у меня критическое направление ума?»

В эти дни я работала дома у С.С.Смирнова над его пьесой о Брестской крепости. В его квартире раздался звонок: за мной прислали машину из ЦК партии. Меня провели прямо в кабинет зав.отделом культуры Д.А.Поликарпова, который сидел над кипой бумаг. Он едва поднял на меня глаза и стал злобно меня ругать за статью. «Вы понимаете, что натворили?! Ведь вы натравливаете народ против партии! Слышали, должно быть, какие политические демонстрации прошли в Новочеркасске? А вы подливаете масла в огонь своим «критическим направлением ума». Вот тут у меня лежит целое исследование по этому поводу Е.Д.Суркова», — он похлопал по толстой рукописи, лежавшей перед ним на столе. Не дав мне ничего сказать в свое оправдание. Поликарпов грубо кричал на меня и выставил из кабинета.

Через день он собрал у себя редколлегию журнала во главе с Погодиным и снова начал «разборку» с помощью тех критиков, которым он поручил нас «разнести». Тут Погодин струхнул, он был беспартийным, и заявил прямо: «Меня коммунисты подвели». Товстоногов сослался на приступ язвы и быстро ушел. М.О.Кнебель говорила в испуге что-то о ГИТИСе. Другие члены редколлегии вообще не явились. Весь удар пришелся на голову А.Н.Анастасьева — он его выдержал стойко, по-мужски. Поликарпов все похлопывал по рукописи Е.Д.Суркова и повторял: «Это политическое дело, и вы будете за него отвечать!»

На следующий день в журнал была прислана бумага — решение ЦК партии. Мы с Анастасьевым были изгнаны из редколлегии. Его сразу перевели в Институт истории искусств, созданный в 1944 году Э.Грабарем. Меня пока оставили в редакции. На место Анастасьева назначили В.Ф.Пименова, ближайшего друга А.В.Софронова, который весь этот разгром подготовил. Он стоял за спиной Поликарпова и Пименова, ими дирижируя. Погодин сразу понял эту ситуацию: «Я не хочу быть вторым редактором», — сказал он и ушел из своего журнала. Тогда Софронов посадил Пименова на место главного редактора, хотя в Союзе Писателей он был не литератором, а чиновником.

По счастью, у меня нашлись друзья в Институте истории искусств, куда я очень хотела теперь уйти. Мне позвонила зав.сектором театра Т.М.Родина и предложила подать заявление, чтобы срочно оформиться в штат института. Все решилось за один день с помощью зам.директора Института Ю.С.Калашникова, который меня хорошо знал, т.к. был редактором моей книги «Чехов и Художественный театр», получив мою рукопись из рук П.А.Маркова. Он все провел своим приказом, пока директор Института — сторонник Поликарпова — находился в командировке.

Так начался последний, самый длинный и, пожалуй, самый плодотворный период моей работы и жизни. Здесь я защитила докторскую диссертацию в 1970 году, опубликовала две книги о режиссерских исканиях К.С.Станиславского, главы в коллективных трудах по истории русского советского театра, редактировала эти труды, написала много статей о новых спектаклях разных театров, больше всего - о постановках Г.А.Товстоногова, писала о постановках О.Ефремова, А.Эфроса, М.Захарова, П.Фоменко и его ученика С.Женовача, читала лекции по режиссерскому искусству, по драматургии и актерскому мастерству в разных институтах и библиотеках, вела телевизионные передачи о новых постановках московских театров, вела занятия в Институте повышения квалификации — с режиссерами из разных городов, часто читала лекции в Доме Актера ВТО, в ГИТИСе, в Литературном институте, вела обсуждения новых спектаклей во МХАТе и обсуждения новой драматургии, написала первую большую работу о драматургии Л.Петрушевской, участвовала в конференциях, посвященных К.С.Станиславскому, Б.Брехту, М.Чехову, А.Эфросу и другим деятелям русского и зарубежного театра. В эти годы я много ездила с докладами по нашей стране и за рубеж, где публиковались мои книги и статьи.

За это время многое переменялось у нас в стране. После смерти Сталина и доклада Н.С.Хрущева на съезде партии о культе личности Сталина, началась пора либерализации, когда были реабилитированы многие бывшие заключенные — «за отсутствием состава преступления». Мой отец тоже получил такую бумагу и, наконец, через 27 лет, в 1957 году вернулся в Москву. Он и теперь не роптал о прошлом, повторяя, как многие, расхожую поговорку: «Лес рубят — щепки летят». Он был счастлив и очень хотел улучшить нашу жизнь. Мы все еще жили в двухкомнатной квартире на Ленинградском шоссе, где стало тесно, так как у меня было трое детей: Андрюша десяти лет и двухлетние Саша и Ляля.

У моих двойняшек рано сложились прямо противоположные характеры и наклонности. Даже окраска кожи, глаз и волос была разная: у у Ляли были красивые голубые глаза, у Саши — карие. Ляля была светлая, белокожая, ловкая и подвижная. А Саша часто спотыкался и разбивал коленки. Саша был смуглым и легко загорал. Ляля загорала слегка.

Как-то мы шли с ними в Трехгорке, где снимали дачу. Саша нашел в лесу зеленую шишку и показал мне. Ляля сразу сказала, что тоже хочет такую зеленую шишку. Я говорю – ты сама поищи. Но она не нашла и даже заплакала: «Хочу зеленую *шишку!*». Тогда Саша протянул Ляле свою шишку и сказал : «Мама, я нашел *лялину* шишку» — все успокоились.

Папа решил, что надо срочно менять нашу квартиру на большую, и сам занялся обменом очень деятельно. В результате двухгодичных хлопот он нашел подходящую 3-х комнатную квартиру во дворе дома на Патриарших прудах. Этот район до сих пор считается одним из красивейших мест в Москве. Хозяин квартиры потребовал большой доплаты, но мы с Федей уже хорошо зарабатывали в своих Институтах. Туда мы все и переехали, кроме хорошей няни Шуры, которая присматривала за детьми, пока я была на работе. Стали искать новую няню, но подходящей не нашли. Меня снова выручила Полина Мартыновна, которая,наконец, вернулась из ссылки (как немка, она была во

время войны сослана в далекий Казахстан, где долго работала на пересыльном эвакуационном пункте станции Жанна-Арка).

Здесь папа взял на себя заботу о моем старшем сыне, который учился в хорошей школе и дома занимался с преподавательницей английского языка. Однако потом, в свои 15 лет, он стал «неуправляем» и мне, по совету папы, пришлось каждый день брать его с собой после школы - в читальный зал библиотеки ВТО, потом в столовую ВТО, потом в театр или кино, и только вечером отпускать его домой. Вскоре мы с Федей и младшими детьми переехали в Федину квартиру на Плющихе, откуда они стали ходить во французскую школу на Арбате. На Плющихе к нам пришла последняя няня — Ксения Сергеевна Минина, которая все хозяйство взяла на себя, и дала мне возможность много работать и ездить в командировки по стране и за рубеж, а детей моих очень любила, о них и обо мне трогательно заботилась.

Мама продолжала работать очень много. Она открыла детские психиатрические отделения в двух больницах — на Потешной и в Кащенко. Кроме того, постоянно консультировала детей в поликлиниках и дома. За это время она написала большую книгу по своей специальности²³ и хотела, по настоянию своего брата Александра Евгеньевича, защитить ее как докторскую диссертацию, да так и не собралась это осуществить.

Папа долго просил ее сократить загруженность, чтобы она смогла, наконец, уделить ему больше внимания, но мама не решалась на перемены. В результате папа поехал в Ленинград к своим старым друзьям, пожилая дочь которых Валя Шапошникова была к нему равнодушна еще в молодости, во время жизни в Ростове-на-Дону. Папа стал ездить с Валей по разным литературным музеям — Пушкинским, Блоковскому, Тютчевскому.

Эти поездки оборвались, когда у папы обнаружилась опухоль предстательной железы. Его сняли с парохода, который направлялся по Волго-Донскому каналу в Ростов-на-Дону, и срочно положили в больницу. С этого времени начались его мучения. В Москве известный профессор сделал ему операцию, потом — другую, но выздоровление шло медленно. Мама, наконец, сократила свою работу, чтобы ухаживать за папой. Мы с братом тоже в этом участвовали. Под конец, опухоль переродилась в злокачественную, и папу положили в специальную больницу раковых заболеваний в Петрово-дальнем за Москва-рекой. Почти каждый день я ездила туда его кормить. Он встречал меня ласково но глаза у него были испуганные. Он все повторял поразившую его новость, что раком люди заражаются от употребления свежей газетной бумаги вместо туалетной. Никакие лекарства ему уже не помогали. А операцию он вряд ли сможет перенести — так считали врачи.

Отцу становилось все хуже, и лечащий врач позвонил маме, советуя взять мужа домой, так как ему осталось жить недолго — «пусть последние дни он проведет дома, с родными». Когда мы его перевезли, он уже не поднялся, лежал в комнате на Патриарших прудах и смотрел на нас также испуганно. Мама не отходила от него.

Мы с Шуриком приезжали каждый день, так как жили со своими семьями отдельно. Дети у меня еще были на даче в Трехгорке с Полиной Мартыновной (Ксения Сергеевна на лето уезжала к себе на родину — в Чернолучье, под Омском), а я возилась с ремонтом квартиры на Плющихе после смерти матери моего мужа.

Вдруг позвонил Шурик и сказал: «Папе совсем плохо, брось все и приезжай». Я, как была, в халате, заляпанном краской, выбежала на Смоленскую площадь и догнала уходящий троллейбус. У папы был врач, вызванный мамой. Он осмотрел папу и вышел к нам в другую комнату. «Теперь ему уже ничто не поможет. Только сходите за

²³ Сканави Е. Е. Реактивные состояния (психозы и неврозы) у детей и подростков. М, Гос. НИИ Психиатрии, 1962.

кислородом, чтобы облегчить ему дыхание». Шурик быстро сбегал в аптеку и принес кислородную подушку, но папа ослабел и никак не мог с ней справиться. Мы не отходили от него. Когда мама вышла из комнаты, папа сказал нам тихо: «Помогите маме, она замучилась со мной». Это были его последние слова. Он стал задыхаться и закрывать глаза. Мы все стояли над ним и с ужасом ждали конца... Он вздохнул последний раз и уже глаз не открывал. Я со слезами тихо звала его: папа, папа, папочка... Но он уже не слышал. Все было кончено.

Отца пришлось кремировать, потому что могила на Новодевичьем кладбище, которую он поставил для тети Лизы в 1923 году, теперь была вся занята для похорон дяди Вани, его жены тети Мани и их старшего сына Юры. Мне пришлось подыскать большой круглый камень, и Шурик заказал выдолбить в нем отверстие для урны папы, оставив место для урны мамы. А сверху написать все, что положено. Теперь урна мамы там тоже давно лежит, и надпись для них обоих сделана. Но никому больше там места нет. Видимо, придется захоронить мою урну рядом с камнем, просто в землю, больше некуда.

Теперь, когда я подхожу к своему концу, передо мной часто встает прекрасный образ Отца, на который можно только молиться. Чудо, как он вынес все 27-летние испытания тюрьмой и ссылкой, и не согнулся, сохранил в чистоте доброту своей души и любовь к людям - близким и далеким. И все мы, близкие, все, кто его знал, вместе с ним пережили его испытания, все любили его несказанно, тянулись к нему душой, чтобы прикоснуться к первоисточнику доброты и сердечного участия.

Даже в жестокие годы, когда болезнь отнимала у него день за днем силы, он не роптал на несправедливость последнего испытания, ниспосланного ему слепой судьбой. Даже предсмертные его слова были обращены не к себе. Он заботился о нашей матери, которая все свои силы отдавала не ему, а своим больным. Он хотел всей душой попытаться вернуть в нашу жизнь доброту и справедливость, которыми его самого судьба обделила, но вопреки всему он мог раздавать людям - близким и далеким — все, ими утерянное. И возвращал с той щедростью, на какую от природы был способен.

Приходя теперь с детьми на Новодевичье кладбище, я глажу его холодный могильный камень, кладу цветы и тихо шепчу ему слова благодарности за ту доброту, которую он всегда раздавал людям, не требуя от них никакого вознаграждения, зная, что только память о нем будет ему, ушедшему от нас, утешением и благодарностью нашей за то, что такой святой мученик жил и не роптал на нашей грешной земле. Вот почему я прошу моих детей на моей могильной дощечке написать не только фамилию Строева, но первой — фамилию Сканави, которую при рождении дал мне мой Отец.

1998